



\*\*\*  
С НЕКОТОРЫМИ ПИСЬМАМИ АЛЕКСАНДРА КОШИЦА, ПРИСЛАННЫМИ ИМ В ДВАДЦАТЫЕ ГОДЫ ИЗ АМЕРИКИ СВОЕМУ ДРУГУ В СТАВРОПОЛЬ, ЧИТАТЕЛИ УЖЕ ПОЗНАКОМИЛИСЬ, ПРОЧИТАВ АЛЬМАНАХ «СТАВРОПОЛЬ» № 4 ЗА 1962 ГОД. СЕГОДНЯ МЫ ПУБЛИКУЕМ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ПИСЕМ КОМПОЗИТОРА А. КОШИЦА.

\*\*\*

## П И С Ъ М А

### С Т О Г О

## П О Л У Ш А Р И Я

17.XII-25 г.

Дорогой мой Вася!

Мне, право, совестно делается, когда получаю твои письма: ты, будучи так занят, столько пишешь мне, а я всего два или три письма тебе написал. Но выслушай меня и не осуди. Столько приходится рассказать, что, право, не знаю, смогу ли...

Прежде всего, о деле. Последнее письмо я написал тебе из Стони-Пойнт, когда работа моя с хором только налаживалась, и в нее, как палка в колесо, была брошена музыка Акрона к «Сальоме». Если ты получил мои Укр. сборники, ты там найдешь один лист этой музыки и сможешь понять, что это такое. Скажу коротко: нужно взять полсотни котов, связать их за хвосты веером и под низ поставить жаровню с горячим углем...

Я не знаю, есть ли и может быть в мире хормейстер и хор, которые могли бы взяться за разучивание этого ужаса. Но... дело было поставлено на мое самолюбие, — и я выучил.

Хоровые выступления, разбитые между двумя солистками, скрипачом, двумя танцовками и «кловилуксом», теряли свою дельность и не могли произвести впечатления ясного, полного и убедительного, как бы ни прекрасен был хор. А «Сальоме», представляющей собою собачий вой на пожаре, разбивало всякое впечатление, и искупить этот вой

по ходу программы не было уже возможности. Я ясно видел это, хотя хор и был на полной высоте. Видно было заранее, что сбываются все мои опасения, о которых я говорил раньше Рабинову, но что поделаешь? Всем заведывала комиссия, иначе сказать, Рабинов один, как потом оказалось.

Теперь относительно прессы и национального характера этого турне: из присылаемого тебе либретто ты увидишь целый список миллионеров, которые покровительствуют этому институту (а значит, и этому турне). Наша логика говорит: если человек дает свою подпись на какое-либо дело, значит, он берется ему помогать. Это так по-европейски. Но не так по-американски. Здесь я записываюсь в твои приятели для того, чтобы на меня не упало подозрение, если я тебя в темном углу зарежу.

Что же касается американского национального чувства, то я еще раньше писал тебе, что их национализм проводится только в «квоте» для иностранных эмигрантов, в их притеснении и эксплуатации. В долларе суммируется все, что необходимо для американца. И если это дело не доходное в смысле доллара, то никакие национальные афишировки ему не помогут. Даже в школьных книжках все американские герои (напр., Эдиссон) трактуются с той точки зрения, сколько они взяли за патенты на свои изобретения. Так вот, с такой публикой

вести дело, не приносящее долларов, довольно трудно. Даже свои хористы американцы на мои призывы к их национальному чувству отвечали: «Ай донт Кейр!», т. е. по-нашему — «наплевать!» Это, конечно, одна миллионная часть общей ситуации, при которой началось наше турне.

Вот при каких обстоятельствах мы и начали свои выступления, и притом прямо с Бостона, который является законодателем американского музыкального вкуса и своим приговором предрешает судьбу всякого музыкального предприятия. Отсюда и началось... Ты помнишь, что я сказал о конкуренция и Отто Каковской агитации? Так вот, начали мы свое турне в том же зале Бостонского «Симфони Холл», который на концерте Украинского Хора трещал от массы публики. Тут ее была четвертая часть. Начался концерт по устроенной Рабиновым программе и получился не концерт, а какой-то «шов», т. е. кабаретный спектакль с аттракционами вроде танцев и световых эффектов на экране. А на следующий день появилась такая критика, что полетели и перья и пух... Много было в ней предвзятого и инспирированного, но масса едкой правды. Единственное, чего не могли ругать, а хвалили — это мой хор! В общем же это было надгробное слово на крестинах! Дело было сразу же похоронено...

Объехали мы еще три города и на пятом концерте в «Метрополитен Опера» в Нью-Йорке имели колоссальный успех. Критика дала специальную статью хору и моей арранжировке Шопеновского траурного марша для хора, а также исполнению его. А потом... собрание директоров, и... дело закрыли!

**19.XII.** — Вчера узнал по этому поводу интересную новость: «Риллэстейнт»щики, т. е. директора, которые в связи с Институтом, ведут спекулятивную акцию с землей Стони-Пойнт, решают продолжать дело Института в будущем году, но, кажется, что без Рабинова, как директора художественной части. Что из этого

выйдет, увидим. Во всяком случае «сюда я больше не ездук», — мне так противна стала эта американская манера ведения дела и бессовестная эксплуатация неумных работников искусства, включительно до рядовых хористов, что я не могу теперь видеть американской морды без того, чтобы не покрыть ее крепким словом по восходящей линии до Вашингтона включительно. К слову сказать, с американской точки зрения — это дело естественное: набирают труппу в 200 человек, репетируют по 8 час. в день два или три месяца бесплатно, подписывают контракт на два года, — а через неделю распускают всех, выдавши жалованье за 14 дней вперед. Всюду есть свои адвокаты, которые обставляют так детально такого рода фокус, что эти господа остаются безнаказанными. Это тебе страна высшей свободы (для хороших жуликов) и высшей справедливости (на америк. манер!). И здесь все абсолютно так...

Таким образом, над нами «пошутили»... Больше всего в убытке, конечно, я. Привести к одному знаменателю стадо американских ишаков, заставить их петь, научить их этому, — это такой труд, что ты себе представить не можешь! Не будь дело поставлено на мое самолюбие: «могу ли я», — я ни за какие бы деньги не взялся за работу с людьми, которые вчера только научились отличать живопись от скульптуры, а отличить итальянскую музыку от другой и до сих пор не могут. В результате всех 8-часовых потений и сквозняков, да прибавь сырого климата Стони-Пойнта, — я заболел сухим плевритом и уже месяц не выхожу из комнаты, а только на днях смог взяться за письмо к тебе. Придется еще пролежать недели две.

Ты теперь опросишь меня, что я намерен делать? Я ждал этого проклятого Института целый год, проработал три с половиной месяца, жалованье получил за три недели, а прожил все свои кровные сбережения. Но это все не так важно, как важно до точки кипения отвращение (оно и раньше было) к этой стране сытого мещанства, фарисейства,

самовлюбленности и эксплуатации. Мои нервы не могут больше выносить всего, меня окружающего. Да и сил у меня осталось очень мало. Одним словом, я хочу воспользоваться приглашением возвращаться на Украину и скоро заведу переписку по этому вопросу с надлежащими инстанциями. Ведь взялся я за эту работу только для того, чтобы залатать дыру, просиженную за год безработицы. Теперь, когда это не удалось, бессмысленно просиживать ее еще дальше... Больше смысла работать дома для своего народа, чем на эту сытую свору жуликов. Ведь пока я работал здесь с Укр. хором, — это для меня имело хоть какой-нибудь идейный смысл. А разводить американскую культуру можно было в виде опыта на один год и только ради денег. Раз этого нет — нет смысла тут оставаться. Так вот, Вася, возможно, что к осени я буду дома, если не издохну от плеврита и если не будет препятствий к моему возвращению с какой-либо стороны. Ну, проживем—увидим. Но пока еще я с этой бандой формально не развязался, по выздоровлении буду рвать с ними.

**20.X.11-25 г.** Все твои письма и ноты я получил. Букетова все время не видел, так как сам был занят, а теперь занят он: уехал с хором в одной пьесе русско-американской: «Песня Пламени».

Чтобы не пересказывать тебе содержания, которого пересказать нельзя (это сплошной сумбур), опишу начало первого акта, где выступает русский хор. Действие происходит в Ленинграде во время Великой революции. Вначале поет хор первую строфу: «Отче наш, иже еси и т. д.», потом замогильными голосами «Водка! Водка! Водка!», дальше «Да святится...» и т. д. и снова: «Водка, водка, водка!». Потом начинается революция: бой врукопашную на ножах. *Бьются балерины.* Одна из них, премьерша, останавливает этот кровавый бой, отворяются ворота, выскакивает бык, выходят тореадоры, и начинается бой быков... и т. д. в таком же роде. Чем это хуже «развесистой клюквы»? Нравится

тебе?

Вот что занимает денежных американцев и пользуется у них колоссальным успехом! На постановку этой дребедени (мягко говоря) истрчено 1 000 000!! Я думаю, что тебе после этого ясно все относительно американцев. Ах, братику, не знаешь ты этой страны, а то бы плевался так же, как и я. Конечно, здесь речь идет о широкой массе публики, но широкая ли масса составляет Америку?

Посылаю тебе книжки либретто нашего турне, которое отцвело, не успев расцвести. Таких книжек было выпущено 500 000 экземпляров. В размахе рекламы нельзя не отдать дани справедливого удивления американцам.

Тут же прилагаю тебе музыку Акрона, поиграй и увидишь, что значило ее выучить.

В этом письме посылаю тебе также народную песню (укр.) «Сон», которая была боевым номером моей программы по всей Америке.

Вася, я страшно беспокоюсь, что ты и до сих пор не получил моих арранжировок. Неужели воскрес гоголевский почтмейстер? Это очень печально.

Как я уже говорил, я пятую неделю лежу в постели. Дело идет к поправке. Если поправлюсь, сейчас начинаю переписку о моем возвращении на Украину. Может быть, судьба приведет нас увидеться и помянуть дни древние. Об этом теперь мечтаю и днем и ночью. Если б только в этом проклятом климате еще чего не захватить нового. Ведь 90 процентов американцев болеют желудком от своей кухни и горлом от климата. Почти все имеют вырезанные гланды в горле.

Ну, дорогой Васечка! Три дня пишу тебе письмо — дольше нет сил.

Если бог поможет, может, свидимся. Ехать домой я решил твердо. Не знаю только, сколько времени займут все формальности. Устал я так от всей этой заграницы, что сказать тебе не могу. Хочетсядохнуть родным воздухом, а там... хоть и на тот свет.

Ну, будь здоров. Жду часа свидания с тобой и всеми.

*Твой Сашко.*

Нью-Йорк, 12/1V-26 г.

Дорогой Васечка!

Воображаю себе, как ты меня ругаешь за то, что на твои письма я так долго не отвечаю.

Чтобы пояснить тебе первую причину моего молчания, скажу коротко: снова был болен. Но слава создателю, выскочил благополучно. Есть еще причина, почему я молчал так долго. Я и до сих пор еще не выяснил моего положения. Дело в том, что за два года сидения без дела я прожился «до шпенту», а ехать домой, — нужно иметь хоть одежду. Мой менажер (читай: «ненажер») имеет на меня право еще на два года. Это право выражается в том, что по подписке я не могу ни с кем работать, а только с ним. Вот тут-то и сыграло, кажется, хорошую роль для меня приглашение ехать на Украину. Дело в том, что в Америке принято так: тебя хотят эксплуатировать и дают тебе работу. Подписывают с тобой контракт на год, предположим, а через месяц, увидя, что работа, на какую тебя пригласили, не дает прибыли, не «идет», как говорится, разрывают подписанный на год контракт, и все работники сцены или эстрады вышвырнуты на улицу среди сезона и сидят без хлеба. Хорошо еще, если выдадут за две недели жалованье, как сделали это нам в прошлом году. Все это происходит потому, что ни один менажер не депонирует в банк гарантии при заключении контракта, это здесь не принято делать. Когда Рабинов заговорил со мною относительно работы в будущую зиму, я потребовал от него гарантии для себя и для хора. Это обстоятельство и было причиной того, что контракт так долго подписывается, уже почти два месяца. Конечно, не имея я возможности ехать домой, а будь принужден сидеть и работать в Америке, я бы не имел возможности даже заикнуться про гарантию. Это могло бы только вызвать смех у всех нью-йоркских глитаев-«ненажеров». А при моем положении де-

ло вышло несколько иначе: Рабинов как угорелый мечется, чтобы достать 12 000 гарантии. Дело пока не окончено, хотя контракт и подписан.

На этой неделе жду, будет ли внесена в банк эта сумма. Если будет, тогда буду работать, нет — еду этим же летом домой, хотя и в дырявых штанах, и по морю, яко по суше, но все-таки домой! Вот это и есть одна из характерных черт американской жизни, которая не дает возможности человеку нашего склада приспособиться морально к американской действительности — это жить по неделям. Работая эту неделю, ты не спишь по ночам от мысли: что с тобой будет на той неделе? Это порождает удивительную психологию узости интересов и взглядов: некогда ни о чем другом думать, кроме будущей недели. Порождается крайний эгоизм, в духовном смысле для человека это гибель, он все-таки живет недельной порцией жизни, и для других потребностей у него не хватает попросту времени. И не удивительно, что в стране такого колоссального достатка и высочайшей в мире заработной платы моральный уровень американца поражает своей низостью и дикостью, о которой и не снилось нашей «голодной и отсталой» России.

Газеты ежедневно пестрят такими преступлениями и житейскими фактами, что только диву даешься: отец стреляет сына за то, что тот не принес вовремя молоток, или ежедневные поджоги «из любопытства» и т. д. Это не в богатой среде (там получше фактически), а в обыкновенной фермерской (селянской), это делается в обыкновенных домах, где, однако, есть радио, газ и электричество... Вот она, братику, такая званая «цивилизация». Да будь она после этого проклята!

И особенно возмутительно то, что вся эта сволота, жирная, упитанная, пахнувшая самогоном (тут страна «сухая»), еще осмеливается говорить о нашем варварстве и отсталости, будучи сама обезьяной в галстухе! Ты не можешь себе представить, как я стосковался

по нашим людям, по нашей природе.

Мне кажется, что если бы я хоть на минуту дохнул вместо этого проклятого газолена настоящим ароматом конского навоза, я поздоровел бы на десять лет! Но в этой стране, кажется, и лошади воняют газоленом... А протестантские попы, между тем, строят церковь в 60 этажей, которая будет выше 58-этажного «Вулворт Билдинг»а! А в этой церкви будут и банки, и конторы, и магазины! Видишь, какие тут благочестивые люди! Целые штаты поднимают гонение на преподавание теории Дарвина в школах и делают «постановления», что учение библии о творении мира нужно понимать буквально. А некоторые штаты проводят так называемые «голубые законы», от которых несет средневекового инквизицией!! В воскресенье нельзя даже бриться, покупать зельтерскую воду, возить на автомобиле и даже чистить ботинки. Есть даже один город, где нельзя на улице курить (называется он, насколько помню, Сион). Видишь, какая это высококультурная и высоконравственная страна! Куда нам!

13/IV-26 г.

Продолжаю письмо.

Перед этим наболтал я тебе об Америке, ты меня прости, что у кого болит, тот о том и говорит... Сейчас по телефону узнал, что Рабинов внес залог за контракт. Значит, дело принимает такой оборот, что домой я поеду только будущим летом. Теперь начнется самое трудное время-собрание хора.

Поклонись всем меня помнящим и благодари их за привет, какой они через тебя послали мне.

*Твой Сашко.*

Нью-Йорк, 8/VI-26 г.

Мой дорогой Вася!

Прости, любый друже, что так долго не писал тебе. Письмо твое я получил, и на меня оно навеяло грусть... Тем более, что на весну у меня то же настроение, что и у тебя. Разница только в том, что ты переживаешь то же самое, что и я, но

видишь перед собою роскошную весну, а я переживаю это, чувствуя весну только по стенному календарю, над головою ж у меня летят поезда с грохотом, чисто американским, на улицах нестерпимая вонь от газолена и шум от авто такой, что никуда от него не скроешься, он пропитывает все твое существо, и тебе кажется, что тебя посадили в железную бочку и тысячи рабочих вбивают в нее заклепки... А в воздухе или нестерпимо жаркая сырость, или же отвратительный холодный ветер леденит твое покрытое потом тело и на каждом шагу тебя подстерегает простуда. Это называется нью-йоркская весна, а что же будет летом?..

«В городе» тебя поезд выплевывает на улицу в столпотворение вавилонское, где кажется, что смешаны не только «языки», а и разум человеческий: бегут, кричат, вопят, толкаются... хочется взять дубинку, стать на перекрестке и лупить по этим дурацким головам до потери собственного сознания...

Ты не можешь себе представить, до чего этот город может отравить человека до сокровенной глубины его души: сам того не сознавая, ты делаешься постепенно наполовину ненормальным. Я видел и слушал большие города Европы, но ни один из них не отравлял меня так пошлостью, мещанством и какой-то моральной вонью, как Нью-Йорк. В парижской толчее и шуме носится какая-то неуловимая радость, ты сам делаешься моложе, и хочется делать глупости, от каких дома потом покраснеешь. В берлинском водовороте столько неуловимого скрытого порядка и гармонии, что ты все приемлешь с чувством тайного преклонения и смешанного с завистью удивления: этот шум-биение сильного пульса здорового организма. Кажется, что остановись это мгновение, ничего не произойдет, потому что все обстоит так, как нужно, и «врата адавы» ничего здесь не сделают. Лондонский шум—это шум порядка в хорошем ресторане, где на стойке помещаются и блещут всеми цветами розовые бифштексы, коричневые

паштеты, желтые салаты, пенится чудный эль, янтарем горит прекрасное пиво, а рубином портвейн. Шум Барселоны — это шум жизни, обезумевшей от яркого солнца и голубого неба. Стоит только посмотреть на эти кричащие, смеющиеся рожи с огнем в черных глазах и оливковой от загара кожей, чтобы тебя охватила какая-то животная радость жизни и ты сам начал так же орать, как и они. Но во всем этом есть красота: взор твой имеет перед собою прекрасные краски, определения, линии, — ты видишь «оформленную» действительность и чувствуешь, что эту форму создавала история, богатая и поучительная: есть что наблюдать, что чувствовать, над чем думать... А тут... впечатление толкучего рынка, устроенного на задворках какой-нибудь фабрики в полном ходу: все суетливо, нестерпимо шумно и пошло до тошноты. На всем фабричный штамп до того, что все лица сливаются в одну массу манекенов из дешевого магазина. Нигде никакого намека, хоть маленького, на что-либо оригинальное или красивое. Начиная от мозгов и кончая воздухом, все пропитано нестерпимым запахом галантерейного магазина с Киевского Подола. Фабрика всюду... Фабрика одевает людей, фабрика изготавливает им пищу, фабрика формирует им мозги, понятия, чувства, вкусы... все фабрика. Ты не найдешь здесь пиджака на твою фигуру, сапог на твои ноги, шляпы для твоей головы, — потому что все фабрикуется по штампу: на американца с его тощей фигурой, длинными ногами, ступней аиста, животом гончей собаки и головой в виде удлинённого кувшина.

По такому же штампу устроена здесь вся жизнь, и ничто здесь не подходит для нашей «фигуры». Все неудобно, все крикливо, все чуждо, все не эстетично...

А так как за плечами всего этого стоит самая лживая, самая продажная, самая сухая и филистерская протестантская мораль, то вообрази себе, что за кушанье получится из смешения англо-саксонской черствости с семитической суетливостью на протестантском соусе! Все это для на-

шего духа чуждо и враждебно. Все кричат, что это — молодая страна будущего, но для меня страна без истории так же неинтересна, как девица без «прошлого».

А что касается «будущего», то будущее за Россией. Если же «будущее» вообще понимается в «американской форме», то я не хочу доживать до этого паскудного будущего, — ну его к черту!

Ты, Вася, пишешь, что я не понял твоего романа «Как скучно». Нет, братику, я-то именно понял его, может быть, глубже, чем кто-либо другой! Потому что не только сам тоскую о потерянной сказке, а сам присутствую при том ужасном диагнозе, когда изо всех углов слышится неумолимый приговор, что сказка умерла и ее уже никогда нам не видеть... Говорить об этой молчаливой душевной катастрофе я не имею сил, а потому и к твоему роману я прямо боюсь прикасаться: он для меня то же, что серная кислота на свежую рану. И если б он был по форме более модерней, то он для меня не был бы так жгуч и мучителен, но... он голос моего умершего и никогда не забываемого прошлого, а потому доставляет мне прямо физические страдания...

Почему-то нет во мне энергии, нет устойчивости — делаю на «авось», хорошо было бы, чтобы эти страхи были неосновательны, и чтобы удалось хоть что-нибудь подработать на дорогу домой (об искусстве тут уже речи не может быть), так как, прожившись за два года и продолжая жить в этой беспощадной стране, я не могу себя чувствовать, как тот чумак, который «пропив штаны, тай у боки взявся». Так чувствовать я мог бы себя только на родной моей Украине, среди родных людей. А здесь это пахнет похуже... А может быть, на меня так действует американская обстановка, что даже родное дело приходится вести с таким ощущением, словно ты принимаешь слабительное... Господи! Никто не знает, как я соскучился по моей Украине!!

Я теперь полон мыслью о возвращении домой и с этой точки рассматриваю свое

турне и жажду его, как «елень на истонии водния». Не дай бог, если провалится!!

Вася! Думаю, что письмо уже не застанет тебя дома, ты будешь или на море, или в горах, а я, бедный, должен буду сидеть в городской вони, волноваться по целым дням и портить кровь от цены на какого-либо тенора или баса, которому до моих переживаний такое же дело, как до польской авантюры Пилсудского или что-нибудь в том же роде. Прескверно, брат, состояние, говорить с людьми о цене! Вообще-то, я в практических делах был всегда идиотом, а теперь это испытываю с особой остротой. А у меня бюджет зафиксирован еще перед Рождеством, теперь тут такая потребность в хористах, что цены стоят сумасшедшие. Я же не могу выйти из бюджета ни на копейку. Ну, да не буду тебя утруждать своим нытьем — у всякого свои заботы. Завидую тебе, что у тебя начались каникулы... У меня же весь год были каникулы,— значит, их не было совсем. Да к тому же я проболел почти целый год, и теперь мой организм так ослаб. С таким здоровьем нельзя начинать тура, когда приходится день и ночь ехать и каждый день петь концерт на протяжении пяти месяцев. Хотелось бы погреться где-либо на солнце, чтобы выгнать всю нечисть из тела, а тут и не знаю, хватит ли времени и денег сделать это.

Кланяйся всем помнящим меня ставропольцам, а также всей милой кавказской природе. Если даст бог добраться благополучно домой, обязательно посещу тебя и тогда вспомним старое. Теперь же будь здоров и благополучен.

*Твой Сашко.*

14/11-27 г. Калифорния.

Дорогой Вася!

Я думаю, что вы все там меня ругаете за то, что не отвечаю на ваши письма. Но если бы ты, дорогой, знал, сколько неожиданных неприятностей упало за это время на мою лысую голову, то, видя, что я жив, ты бы не очень лестного был

мнения о моей голове. Мне кажется, что более терпеливого животного, как человек, нет на белом свете. Это доказал я за последнее время. Я писал тебе с дороги, что попал в руки менажеров, не разбойников, а американских жуликов, — это, брат, похуже. Те убивают, а эти медленно сосут твою кровь, а если ты брыкаешься, то подадут на тебя в суд, и американское правосудие заставляет тебя стоять тихо и не брыкаться, тем более, что ты иностранец. Так у меня было с Рабиновым, который, продавши меня Блоку, поссорился с последним, а в суд подал на меня, — и я теперь должен в продолжение 20 недель выплатить своему адвокату 1000 за то, что эти господа мирно разрешили вопрос, кому из них меня эксплуатировать.

После этого я увидел, что, прежде чем брыкаться, нужно взять адвоката, заплатить ему, и он скажет: больно ли тебе и можешь ли ты кричать, когда амер-вампиры прокусят у тебя на шее вены.

Говорю это к тому, что сейчас я взял снова адвоката, чтобы избавиться от Блока. Он, сукин сын, пустил меня с хором в тур, и чем дальше мы отъезжали от Нью-Йорка, тем меньше платил нам денег. Пока, наконец, добрались до Калифорнии, откуда до Нью-Йорка стоит билет 150 на человека. Тут он совсем перестал платить, и если бы мы все захотели добраться до Нью-Йорка, то пришлось бы работать только на железнодорожный билет. Просто не ясно. К счастью, мне удалось здесь найти ангажемент на 16 недель в одном из наибольших театров (кино — тут других нет) Калифорнии. И это спасло нас от удовольствия прогуляться по шпалам от Тихого до Атлантического океана. Сейчас сидим в столице мировой кинематографии — Голливуде и работаем в Египетском театре Громана. Нужно петь в прологе к картине «Старые броненосцы». Пролог хороший, и выступать в нем не стыдно. Петь нужно всего 12 минут, 2 раза в день: в 2 часа дня и в 8 часов вечера. Плата хорошая. Но душа моя тоскует и мятется, — все это не для

меня и не по моим силам.

Видишь, голубе, куда загнала меня Америка — на «высокие ноты»! Если только благополучно окончу эти «ноты» или они сами собою окончатся (теперь никакому контракту не верю), сейчас же сапоги на плечи и хоть пешком по океану, а обязательно домой...

*Твой Сашко.*

12 марта 27 года.

Голливуд, Калифорния.

Милый, дорогой мой Вася!

Получил твое письмо, такое безнадежное и мрачное, что мне, при моем душевном состоянии сейчас, — прямо хоть вешайся. Не неудачи меня доводят до такого состояния под влиянием твоего письма, — нет: я в нем читаю между строк мои собственные мысли: за плечами невидимой тенью ходит эта проклятая сволочь, которую почему-то нежно называют «старостью», да ещев прндачу облакают ее каким-то ореолом уважения и почитания...

Эта проклятая наглая дрянь лезет в твою жизнь, как самая пьяная наглая непрощеная проститутка с улицы, — входит тихо, незаметно... Ты сначала с ней корректен, потом терпелив и потом стоически вынослив... а между тем, эта сволочь обворовывает тебя на каждом шагу: отвлекает твое внимание к отравленному ею же телу, выдерживает незаметно твои волосы, зубы, обкладывает тебя жиром своей тяжелой «заботливости» о теле, сковывает твои ноги, надевает очки на твой огрубевший нос, наливает свинцом твой мозг, отравляет воспоминаниями и сожалениями твою душу и незаметно «заботливой рукою» ведет тебя на то сволочное место, которое называют кладбищем... И, заметь, — это делается как раз в то время, когда твой дух особенно ясен, когда твой мозг особенно мудр, когда жизненные задачи так просты, как правило сложения... Когда жажда жизни деятельной так прекрасно сильна и невыносимо, обаятельно мучительна!!

Васечка, дорогой! Разве можно на

ничтожном клочке бумаги ничтожными словами все это выразить! Это можно только понять... да и то только тому, кто это испытает сам.

Да, правда, я еще не писал тебе, что со мной случилось... Не получив платы за 4 с половиной недели (хор за две недели), я решил порвать контракт со своими антрепренерами. Подал на них в суд (иначе они подали бы на меня), а сам подписал контракт с Громаном. Это владелец небольших кинотеатров в Калифорнии и, в частности, в столице кинематографии — Голливуде. Он знает все, абсолютно все, и еще раз все!!! И вот этот гомельский император «купил» меня на 16 недель.

Не стану тебе описывать подробно все, — окажу только его словами: «Я хочу научить его (меня) петь не то, что ему нравится, и не так, как ему нравится, а то и так, как ему не нравится, а то и так, как это нужно мне и публике...»

Прежде всего, он «хозяин» дела. Следовательно, все служащие у него хуже рабов, рабов добровольных. Начиная от дирижера Бакалейникова и кончая поднимателем занавеса, — все не подходят, но подползают к нему на собственном животе, смотрят снизу вверх, улыбаются, когда он молчит, хохочут, когда он улыбнется, и молчат, когда он говорит... Такого раболепства не может себе представить самая буйная фантазия... Я прямо ужаснулся, когда увидел это в первый раз!

Кто осмелится в своей области иметь свое суждение, — тому смерть: чек в руки — и на улицу. И вот меня обрабатывают под вкус кинематографической публики: «вставляют мне «финалы» с высокими нотами, расставляют мой хор по своему усмотрению, запрещают или дозволяют лишь кланяться публике и т.д. Всего не перескажешь, да и стыдно. А я... прямо люблю свою терпеливость: ну, думаю, до чего вы еще дойдете, хамы?

Я решил абсолютно все перетерпеть, чтобы дать моим людям заработать, а себе собрать денег на дорогу домой, хотя иногда нервы не выдерживают, но я



терплю. Осталось еще 11 недель.  
Дотерплю как-нибудь.

Так вот, брат, век живи, век учись...  
Весь культурный мир обоих полушарий  
земли признал меня официально, а  
оказывается, что в кинематографии все  
это нуль, и выведенного яйца не стоит...

Вот, братику, комическое положение.

Утешаю себя только тем, что это  
«совсем не похоже».

О своих дальнейших мытарствах  
напишу тебе, а пока крепко обнимаю  
тебя и всех твоих родных и знакомых.  
Мечтаю о минуте моей встречи с тобою в  
родной, хоть бедной, но милой сердцу  
обстановке, на своей родной земле. Будь  
здоров, дорогой друже, не поддавайся  
хворости, хворать, так уж разом обоим.

Крепко целую тебя.

*Твой Сашко.*